



В109 70

ПЕТР СКОСЫРЕВ

МАЛИК ГАБДУЛИН



OUR

Ypon - tra

В 109-70
X
ПЕТР СКОСЫРЕВ

МАЛИК ГАБДУЛИН

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
1943

Ответ. редактор С. Андреев

Подписано к печати 7/VIII 1943 г.

Л40287. 30 240 зн. в п. л. 1 п. л.

1,4 уч.-авт. л. Тираж 50 000.

Зак. 957. Цена 35 коп.

Ф-ка юнош. книги изд-ва

ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».

Москва, ул. Фр. Энгельса, д. 46.

ГПИБ России



10065242



779270 ✓ ✓

1

С младенческих лет возрастает в нас нежность к своей земле и к своему народу. Нянька, качая нас на коленях, рассказывает сказки и поет песни: это баюкает и качает нас родина. Мы играем в свайку или в казаки-разбойники: это мы тренируемся к будущим боям, чтобы уметь защитить свой дом и свою мать. Любовь к своей семье, гордость своим домом, песни, слышанные нами с детства, — вы тоже только кусочек того необъятного чувства родины, которое вечно. Но властительность его по-настоящему нам открыла война.

Малик Габдулин — по рождению казах, и язык, на котором родина пела ему песни и рассказывала сказки, — казахский язык. Дом его — это степи без конца и края, глубоко на восток от Москвы. В степи — кибитки, и от аула к аулу идут верблюды. А Героем Советского Союза Габдулин стал на тех дорогах, какие бегут к московским заставам с запада и по которым с запада катились в 1941 году немецкие полчища, чтобы лишить русский народ его столицы и, значит, лишить казахский народ его счастья, его права мечтать о лучшем, права петь песни на родном языке, — чтобы навсегда закрыть перед всеми советскими народами возможность осуществлять свои надежды.

Зимой казахи жили в кошмовых юртах или в глиняных кибитках, где теснота и мрак. Снегу навалит до крыши. Выглянешь — снег, снег до самого края земли, где степь сходится с небом. По степи идет ветер. Он вламывается в дома и выдувает тепло. А в юрте из войлока еще хуже. Кто ни зайдет со двора, за ним следом вваливается мороз. В юрте казаха первое место принадлежит хозяину, а зимой хозяином всех казахских семей становился мороз... Неприютна зимняя жизнь степного кочевника.

Бабка брала маленького Малика к себе в постель. Ласковая рука ее гладила волосы. Мальчик спал и не спал: глаза зажмурены — спали, а уши не спали. Бабкин голос не громок, а за ним не слышишь ни вьюги, ни лая собак, ни того, как конь за войлочной стеной бьет копытом о промерзшую землю. Голова Малика покоилась на бабкиной груди, а перед глазами вставали картины из сказок, каких в памяти старухи было не меньше, чем зерен в мешке с пшеницей, что привозил отец с базара из города. Вот из черной дыры, мрачной, как отчаяние, выползает дракон. Пасть его зубаста, и из ноздрей летят искры. Во лбу — глаз. У него сто рук, и каждая рука, как лапа тигра. «Поклонитесь мне!» кричит дракон людям. И трусы склоняют головы, а змей хватает их, жрет и ползет дальше. В небе он видит солнце. «Эй, ты там, на небе, что смотришь? Поклонись мне, или я тебя сожру!» кричит змей. У дракона сто рук, а солнце одно. Кто знает, может быть, и не светить бы солнцу больше, только нашелся один человек, не хан и не богатырь — простой пастух, но в груди его билось сердце, горячее, как огонь, и крепкое, как кремень. Он выбрал в табуне самого быстрого коня. Палка пастуха стала золотым мечом. Конь захрапел и кинулся навстречу змею...

Мальчик давно спал, а бабка рассказывала. Малик просыпался, когда ночь уже кончилась. Полог юрты был откинут, и на сундук, обитый железом, и на ковер падал с неба луч, золотой, как меч. Опять мороз. Но если подставить лицо лучу, солнце грело, и казалось, что зима давно кончилась и скоро лето. Ну что, одноглазый дракон, чья взяла? Солнце-то на небе, а ты где?..

Может быть, в детстве, слушая рассказы и песни старухи, Малик и не думал, что придет день, когда и он, как тот храбрый простой человек, выйдет на бой с драконом. Но теперь, в дни войны против Гитлера, ночью, когда товарищи Габдулина забывались сном, а он — их политрук — не спал, стараясь предугадать возможные случайности завтрашнего боя, перед его мысленным слухом возникали вдруг давние сказки старой бабки, которые не только не забывались, но жили и продолжали говорить с ним и греть его душу, как детство.

В давно миновавшие зимы детства будущий Герой Советского Союза мечтал о том, чтобы скорее наступило лето и началось джайляу. Казахстан — скотоводческая страна, и джайляу (массовый выгон скота на летние пастбища) для казаха то же, что для русского человека пахота, сев, сбор урожая. Это основа и душа целого года.

На джайляу каждое лето к сочным травам и свежей озерной воде казахи стогнали многие тысячи баранов и прочего скота. Тысячи коней ржали на прибрежных лугах; столько же верблюдов лежало позади юрт, и головы их были обращены к солнцу. Казахов наезжало на джайляу не меньше, чем весь мир, а со взрослыми людьми и целая орда ребят.

Веселый, любопытный, храбрый, озорной Малик, казахский малыш, возросший в степных просторах, как он мог не любить джайляу! Зимой разве кто в месяц или

в два забредет в заснеженный аул, а тут глаз отказывался пересчитать всех, кто понаехал из десятка волостей, а ухо могло оглохнуть от одного гомона и шума всего того, что ржало вокруг озера, бляло, кричало, разговаривало, пело. Юрты на джайляу составлялись в круг, и у каждой юрты был привязан хозяйский конь, а остальные кони бродили по степи или лежали на берегу. Летом вся степь становилась одной большой семьей. Зимой, когда Малик говорил «мы», он думал: «мы — это я, отец и бабка». А тут каждый чужой бабай у чужого порога, каждый джигит на коне, каждый мальчишка, бегущий по берегу с обрывком веревки через плечо, — все, кто собрались сюда, всё, что слышало ухо и видел глаз — и утки, поднявшиеся из камышей к небу, и само небо — голубое и круглое, как чашка, — всё, всё становилось здесь одной просторной дружной семьей. Пронизанный ветром и зноем мир джайляу был точно гигантская сквозная юрта.

Ах, да не кончался бы он никогда, этот праздник веселья и света!

В сердце Габдулина до сих пор живут ощущением счастья дни, проведенные на джайляу.

У нас в России, после Тургенева, даже те, чье детство прошло в городе, знают о счастье ночей, проведенных в ночном. В ночном у костра, когда спутанные кони жадно рвут траву, напоенную соками расцветшей земли, и картошка в золе горячей и слаще, и небо краше, и мир кругом таинственней и прекрасней. Вот заржали лошади, так и конский голос не тот, что днем, — заливистей и звонче. Или запели ночные птицы. Затаись и слушай. Или гукнуло вдруг в лесу, и не поймешь, что это — сова или филин, или, может быть, это деревья заговорили между собой на непонятном языке? А то неожиданно — откуда ни возьмись — ливень. Костер еще горит, но сучья уже дымятся и трещат. Скорей кидай на

огонь еловые ветки — не то пламя сожмется, покраснеет, затихнет, и мрак надвинется на тебя со всех сторон, и будешь сидеть до утра, прижавшись спиной к приятелю, и не вскипятить воды и еды не сварить. Сто лет можешь прожить потом, а не забудешь ни смеха этого, ни дождя, ни страха, ни рассказов друзей, ни лесного запаха, каким пахнёт внезапно откуда-то властительно и сладко — так, что, кажется, вся грудь распахнулась настежь, и уж не знаешь, твоя это дышит грудь или, может быть, дышит сама земля — со всеми ее лугами, лесами, деревнями, со всеми ее просторами и путями, какие только и ждут, чтобы ты встал, собрался и пошел по родной земле неведомо куда за мечтой, в исполнении которой лишь и заключено для человека счастье его судьбы...

Счастливая, счастливая пора детства! Как ошибаемся мы, полагая, что она невозвратима.

Вместе с другими мальчиками на джайляу Малик устраивал набеги на барханы, что сторожили озерную гладь, и вел бои. Узнавал сладость победы и горечь поражения. На джайляу ему открылось и то, как порой видимая победа может окончиться позором поражения. Один раз ребят не позвали на свадьбу, которую справлял молодой джигит. Малик и еще три мальчика — Кошек, Давлет и Алмай — решили отомстить. Они забрались ночью в юрту, где спали молодые, выпили и вылили наземь весь кумыс, украли масло, унесли лепешки. Торжествуя победу, пьяные и сытые, они вернулись к себе. А утром начался скандал. Молодая хозяйка всплескивала руками, плакала и хваталась за голову, тоскуя о пропаже. Ее муж хлестал себя нагайкой по сапогам и клялся, что отомстит разбойникам. Но как найдешь вора, если ночью был дождь и следы размыло? Это была полная победа. Но торжества в ней оказалось мало. Прошло три дня, и мать

одного из воришек позвала всю ватагу к себе в юрту. Она дала каждому по свежей лепешке, налила в чашку сметаны и все спрашивала: сыты ли они, что мало едят? После воинского подвига джигиты всегда есть хотят, а обокрасть молодую хорошую женщину — это, конечно, большой подвиг...

Кошек вдруг заплакал и стал говорить, что это не он. Тогда Малик тоже сказал, что это не он, но плакать не стал. А добрая женщина подлила им еще сметаны и сказала, что это хорошо, что не они; она сперва думала, что они, но раз сказано — нет, значит — нет: настоящий казах никогда не осквернит своего языка ложью.

Кончилось тем, что они повинились, и если потом им случалось когда-нибудь врать, Малик всякий раз точно слышал в сердце тихий голос: «А ведь настоящий джигит никогда не осквернит своего языка ложью».

Бабушка Малика к тому времени уже умерла, и слова доброй женщины вошли в душу мальчика, как и сказки умершей старухи, на всю жизнь.

Теперь часто в дни войны Малик Габдулин думает, что, воюя с Гитлером, он воюет не один; и дело не только в том, что с ним рядом воюют его товарищи-бойцы, — нет: он думает про то, что воюют с ним рядом также и бабушка, и отец, и та добрая женщина с любовью к правде, и многие другие хорошие люди, каких он немало видел на джайляу, и позднее в аульной школе, и в алма-атинском институте, кто своим примером, своими словами, своими прямыми и честными человеческими сердцами наставлял ребят, родившихся в казахской степи, на доблестный и мужественный путь человека-джигита...

Габдулин до войны мечтал о многом, но меньше всего он мечтал о воинской славе. Он не ждал ее. Пристрастившись к чтению, он определил свое будущее, как жизнь ученого и писателя. Читать и писать книги — вот, казалось, дело, какое подстать ему. Бойцы, когда видят сейчас в своем кругу майора Габдулина, украшенного орденами и пользующегося славой на редкость спокойного и мужественного командира, перенесшего пять ранений и всякий раз возвращавшегося в строй для новых боевых подвигов, едва ли поверят, что всего два года назад не было в Алма-Ате человека более штатского, чем аспирант алма-атинского института, литературовед и фольклорист Малик Габдулин.

До революции из казахов мало кто становился ученым. Трудно было казахскому юноше пробиться к знаниям, так как в школе учили только молитвы и священную книгу, в которой рассказывалось, что бог велик, а люди должны ему повиноваться. Да и таких школ было мало. Казахи учились ездить на коне, умели водить стада, а о всем, что происходит в мире, узнавали по рассказам заезжих людей да по песням, в которых воспевались подвиги людей, живших прежде. Только отдельным удачливым людям выпадало счастье познать книжную науку, и такой человек сразу становился знаменит на всю степь. Казахи уважали знающих людей и понимали, что никакое богатство не сравнится с кладом, заключенным в мудрых книгах. Поэтому в сказках и песнях казахов всегда наряду с богатырями воспевались и мудрецы.

Малик решил о себе, что, когда вырастет, станет не только самым храбрым и умелым, но и самым мудрым человеком. А для этого надо учиться.

То, что он рос в советское время, помогло ему осу-

шестьвить свою мечту. Как и все казахи, сперва Он учился читать по молитвенной книге. Но уже в те годы в аулах и городах открывались школы и даже техникумы. В них каждый казахский мальчик легко мог получить знания, про какие не сказано ни в одной молитве. Малик долго спорил с отцом, не хотевшим, чтоб сын уходил из дому в город, и наконец настоял на своем. Он несколько лет был школьником, а потом, когда открылся первый казахский вуз, стал студентом.

В первые годы учения он не знал, кем ему быть. Другие ученики собирались быть докторами или инженерами. Иным нравилось готовить себя на учителя, чтобы вернуться в родной аул и там учить детей. Еще других соблазняло желание стать агрономами или зоотехниками. А Малику сперва хотелось быть всем зараз, но потом он понял, что всем сразу быть нельзя и нужно обязательно выбрать какую-нибудь специальность. И постепенно специальность сама выбрала его.

В школе Габдулину не раз приходилось писать в стенную газету статьи и выступать на собраниях перед своими товарищами. На первых порах он не придавал этому никакого значения. Писать и говорить он любил, и это ему удавалось хорошо. Что ж тут такого? Это каждый сможет сделать, если захочет. А потом постепенно он понял, что писать и говорить — это и есть его будущая специальность.

Занявшись учением, он вовсе не забыл бабкиных сказок. Наоборот, рассказы и песни старухи, которые он хорошо запомнил, помогали ему и в статьях и в выступлениях. И он догадался, что изучение родной старины и той поэзии, которую создал его народ за всю свою долгую историю, дело такое же важное и нужное, как и медицина, агрономия или техника.

Отдавшись влечению к истории и литературе, Малик стал с кропотливой серьезностью изучать родной фольклор. Вдумываясь в слова народных песен, прислушиваясь к сказкам, в которых старики передавали молодым свою мудрость и понимание жизни, он все больше укреплялся в любви к казахскому народу.

«Если песни о доблести Кобланды-батыра или Казы-Корпеша живут столетия, не записанные никем, и сотни лет трогают сердца людей, значит и люди, которые заучивали их наизусть, тоже доблестные и великие люди; только обстановка жизни мешала им проявить их величие и доблесть, — думал Малик. — Советская власть пришла в Казахстан, чтобы выпустить на волю доблесть людей, задавленных мраком и нуждой. Надо помочь советской власти и надо сделать так, чтобы народ знал о величии своих предков...»

Среди многих замечательных людей, которых родила казахская степь, особенно привлек внимание Малика смелый путешественник и ученый Чокан Валиханов. Он жил в годы, когда еще не было революции и русские чиновники не считали казахов за людей. Однако Валиханову удалось получить хорошее образование и стать самым ученым человеком в родном краю. Может быть, ему помогло то, что он считался потомком Чингиз-хана, и родственные отношения с великим кровопийцей импонировали местной власти. Валиханов прожил всего двадцать девять лет, но оставил после себя много ценных исследований по казахской истории, литературе, быту и фольклору. Он был ярким поборником европейского просвещения для казахов, но — современник Николая I — он, конечно, представлял себе союз русского и казахского народов совсем иным, чем то братство, какое в наше время осуществлено Лениным и Сталиным.

Образ Валиханова привлек Малика, как яркое дока-

зательство неугасимой тяги к знаниям, какая живет в душе каждого народа.

По примеру Валиханова, Габдулин основательно изучил творения русских классиков и окончательно убедился, что жизнь нашего поколения неразрывно связана с лучшими делами и мыслями людей, живших в прошлом.

В литературных поисках молодому аспиранту много помог писатель Сабит Муканов. Ученик Горького по манере видеть и отражать действительность, романист и поэт Сабит Муканов с первых лет революции стал ратовать за изучение русских классиков. «Читай, читай русскую литературу, — говорил он Малику. — Без русской литературы нельзя создавать казахскую культуру. Но знай: не механически надо пересаживать на казахскую почву то, что сделано русскими, а с учетом нашего прошлого и нашего фольклора. В сталинское время каждый народ должен приносить в улей советской культуры свой мед. Так помогай же, Малик, нашим молодым писателям накапливать собственный мед, собранный с цветов родных полей».

Период ученичества для Малика заканчивался. Диссертация о Валиханове в основном была готова. Наступала пора вносить собственный мед в общий улей советской культуры, когда в июле 1941 года в институте состоялось партийное собрание и было постановлено, что шесть молодых коммунистов, и в том числе Малик Габдулин, должны явиться в военный комиссариат, чтобы с оружием в руках защищать от Гитлера ленинско-сталинскую дружбу народов.



И вот Малик в армии. Орды Гитлера катились к Смоленску. Фашистский дракон уже готов был крикнуть самому солнцу: «Слезай с неба и поклонись мне в ноги!»

В эти дни алма-атинские и фрунзенские новобранцы еще только формировались в части, которые через несколько месяцев прогремели на весь мир, как железные панфиловские полки.

Командир полка полковник Копров просмотрел документы Габдулина и сказал:

— Будешь политруком роты.

Малик хорошо знал семнадцать вариантов сказания о Казы-Корпеше и мог наизусть прочесть каждую строчку, сложенную джигитом и поэтом, несравненным Мохамбетом, но он не мог себе и представить, что должен делать в роте политрук.

— Какой к чорту из меня политрук, — сказал он. — Я не знаю ничего и никогда не воевал. Если можно, пусть я лучше буду простым бойцом.

Полковник улыбнулся и сказал строго:

— Армия есть армия, и приказ — приказ. Вот передайте записку комбату Лысенко и принимайте роту.

Малик взял записку и пошел к комбату. Тот указал ему роту. Габдулин направился к подразделению, которым ему предстояло теперь руководить; роту выстраивал на дворе комвзвода младший лейтенант Бобров. Он увидел бойца, шагавшего по двору, и закричал:

— Это что за прогулочки? Как вы смели уйти без разрешения!?

— Я по вызову командира... — начал было Габдулин.

— За нарушение дисциплины два наряда вне очереди.

Вчерашний аспирант постеснялся сказать, что он теперь политрук роты и комвзвода будет у него в подчинении. Он встал смирно и повторил:

— Есть два наряда вне очереди.

— Становитесь в строй! Бегом!

— Есть стать в строй, бегом, — повторил Малик и

подумал: «Какой хороший парень! С таким будет весело воевать».

Но тут вышел командир роты, уже знавший о назначении Малика. Он увидел политрука, бегущего в строй, услышал про два наряда и, отозвав командира взвода в сторону, сказал ему:

— Неудобно все-таки политрука роты и в наряд... Ай-ай-ай, товарищ младший лейтенант...

Бобров смутился.

«Вот оно как в армии. Только бы не оскандалиться. Политруком быть — не про богатырей сказки рассказывать», подумал Габдулин.

Впрочем, пригодились и богатыри. Один боец вернулся в казарму из города пьяным. Он тоже был преподавателем литературы в Алма-Ате. В этот вечер он прощался с семьей, и, когда шел к казарме, ноги его заплетались, и язык еле слушался приказаний своего господина.

Был вечер, и, кроме Малика, пьяного не видел никто.

Габдулин отвел его в свою комнату и долго с ним говорил о литературе и о том, как богатыри учили других мужеству и чистоте.

— Небось, вы в школе каждому ученику говорили, что нужно быть таким, как Мохамбет, а сами чуть не на четвереньках ползете. Богатыри на четвереньках не ходили! На четвереньках это их собаки бегали. Подумать только, если бы вас увидели ученики или бойцы...

Преподаватель протрезвел и, весь красный от стыда, твердил одно:

— Простите, я ошибся...

— А разве можно военному человеку ошибаться? Ну, хорошо, я прощу вас, но война не простит. На

фронте ошибся — все дело испортил и товарищей под убой подвел.

— Я больше не буду. Слово казаха...

Первая беседа политрука с бойцом о воинской чести длилась долго, а когда она кончилась, преподаватель сидел прямо, точно никогда в жизни и не нюхал вина. И позднее на фронте, под Волоколамском, он доказал, что казах умеет держать слово, — был дисциплинированным и храбрым бойцом.

Малику пригодилось не только знание казахского фольклора, — пригодилось ему и хорошее понимание русской культуры. Вместе с казахами и узбеками в части обучались украинцы и русские. Так было в Алма-Ате, так было и позднее, когда часть оказалась на фронте. Знаменитые панфиловские полки были составлены из обитателей Киргизии и Казахстана, а у подножий Тянь-Шаня уже второе столетие бок о бок живут и уроженцы Азии и переселенцы из России. Просмотрите список двадцати восьми, отдавших свою жизнь за родину: рядом с фамилией русской вы увидите и казахскую, и узбекскую, и украинскую. В тот морозный день, когда возле Дубосекова решалась судьба России, нашу страну защищали люди, говорившие на разных языках, но, вскормленные Октябрем, они нашли единый язык сердца, преданного родине, и на этом языке были произнесены слова, записанные отныне в книгу великих речений, когда-либо произнесенных на поле боя: «Велика Россия, а отступать некуда».

Эти слова произнес политрук Клочков, но эти же самые слова бились в сердце Габдулина, который вместе со своей ротой в дни отчаянной опасности для Москвы был перекинут с северо-западного направления под Волоколамск и выдерживал натиск немцев не столь уж далеко от Дубосекова.

Это были первые серьезные бои, в которых участвовали алма-атинцы. Что может быть страшнее первого боя? Боец стоит с глазу на глаз со смертью и видит, что каждая пуля летит в него, каждый осколок снаряда или мины метит ему в сердце. Беспомощность, беззащитность, жалость к себе, отчаяние, ужас, холодный пот и тошнота испуга владеют молодым солдатом. Каждый, кто был в бою, знает это, и каждый советский воин переборол это. Пережил это и Габдулин.

В первом бою он, как и все, сперва испугался смерти, а потом испугался своего испуга. «Значит, вот я какой трус, — подумал он, — а ведь в Казахстане я думал, что я храбрый человек». И чтобы хоть немного отогнать мысль о смерти, он стал, подбадривая себя, твердить строчки о мужестве, какие столько раз слышал из уст сказителей и певцов:

Если ты в жизни правил конем,
Если простор бравил копьем,
Если удачу уздой хватал,
Ветром неистовым грудь хлестал,
Если твой пот в седло проник,
Если от мыла сторел потник,
Если ты дебри одолевал,
Если еду в стремях жевал,
Если тревожен был твой привал,
Если ты женщину забывал,
Если подпрыгн в скачке степной
Ты и поправить не успевал,
Мучась бессонницей боевой,
Красил лицо свое желтизной,
Если звездистым небом влеком,
Брезговал мягким пуховиком,
Если миры, что глядят в века,
Льнули к тебе взамен тюфяка,—
Значит, был верным казахом ты,
Значит, был истым мужчиной ты...

И такова великая сила поэзии. Когда враг уже окружил роту Габдулина со всех сторон, и казалось, выхода нет и победы быть не может, когда прошел первый смертный испуг, но над сердцем и умом еще властвовали отчаяние и безнадежность (неприятельские танки громыхали и справа, и слева, и позади, а многие милые товарищи лежали бездыханные лицом в промерзшую глину); когда возможность спастись была не больше, чем возможность голыми руками сдвинуть с места тысячепудовую скалу, — широкий размах воинской песни, горячей и древней, сохраненной памятью отцов и бившейся сейчас в мозгу политрука, властительно погасил испуг в сердце и позволил Габдулину по-хозяйски собрать нервы в один крепкий узел. Малик взвесил обстановку, принял решение и без всяких колебаний отдал людям приказ оставаться на месте, не отступая до распоряжения командования ни на шаг.

— Стрелок Коваленко, — сказал он, — отправляйтесь на КП и доложите комроты о положении. Скажите, стоять трудно.

Коваленко уполз в селение, где был расположен КП, и через сорок минут вернулся.

— Товарищ политрук, приказание выполнено: КП разбит, командир убит, связные тоже убиты. Я...

Малик вполне допускал, что он или его люди могут быть убиты, но тому, что перебиты все на командном пункте, он поверить не хотел.

— Да ты, наверно, испугался и не дошел. Идем вместе.

И они пошли вместе — два бойца, казах и русский, — открытые всем пулям и минам врага.

Коваленко оказался прав: на КП были убиты все. Положение стало явно безвыходным, но отступать без приказа Габдулин все равно не мог: ему бы не простил это ни один из древних богатырей, память которых

он чтил; он сам бы себе никогда этого простить не захотел.

И остатки роты алма-атинцев — русские, казахские, киргизские и узбекские бойцы — стояли насмерть.

День сменился вечером, а за вечером пришла ночь. Рота стояла. А там снова встал день, и опять наступил вечер, и ночь, и утро, и день. Рота не отходила ни на шаг. И опять атака, и грохот, и бомбы, и свинец, и сталь, и огонь, и смертельная усталость, и боль ранений. И смерть. Уже разве только четверть тех, кто три дня назад принял бой, остались живы; но приказа об отступлении все не приходило, и бойцы роты Габдулина стояли, точно они каменные.

Вот такие люди, стоявшие точно сказочные богатыри или точно они бессмертные, и сорвали план Гитлера ворваться в Москву на быстроходных танках.

Рота отошла, лишь когда единственный уцелевший адъютант штаба батальона через связного дал приказ Габдулину отойти. Но и отходить уже было некуда. За спиной на всех проселочных и шоссейных дорогах торжествовали сталь и железо врага. И все-таки Габдулин сумел отойти. Кроме дорог, ведь оставались еще тропы. И мало того, что отошел: вместо двенадцати человек, уцелевших в бою, он вывел из немецких тылов полторы сотни бойцов. Он подобрал и сколотил в кулак всех бродивших по лесным тропам в поисках своих частей и привел их в деревню Спас-Рюховский, где был штаб дивизии.

Генерал выслушал доклад аспиранта и обнял его:

— Спасибо, Габдулин. Вы — настоящий командир и советский воин. Я думал, вы погибли. Ведите немедленно кормить людей.

Это был генерал Панфилов, о котором и тогда уже складывались в армии песни.

«Лицо у него усталое, — подумал Габдулин. — Верно, не спал трое суток. И полушубок пообтерся. Простой человек, как все. А когда будут песни складывать про наши дни, ему быть в песнях богатырем, заступником солнца».

Если миры, что глядят в века,
Льнули к тебе взамен тюфяка,—
Значит, был верным казахом ты,
Значит, был истым мужчиной ты...

После сражения под Москвой будут петь так:

Значит, был доблестный воин ты,
Значит, был, точно Панфилов, ты...

Так закончился день, сделавший штатского человека, литератора и аспиранта Габдулина воином и командиром.



С этого боя под Москвой можно начинать счет воинских подвигов Габдулина. Он велик. Справившись с испугом, охватившим его в первом сражении, Малик перестал обращать внимание на то, страшно ему или нет.

16 ноября немцы начали второе генеральное наступление на Москву. Тринадцать автоматчиков, во главе которых был Малик Габдулин, получили приказ залечь в жидких кусточках и поджидать немецкие танки, двигавшиеся со стороны деревни Морозово. Задача состояла в том, чтобы как можно дольше задержать фашистов на дороге из Морозова к Ширяеву, за которым — Москва. Приказ разрешал отступление лишь в том случае, если все возможности обороны будут исчерпаны.

В восемь часов утра со стороны Морозова, скрытого в тумане, слышалось гроыхание и рокот моторов, и

скоро на дороге из снежной дымки выполз первый танк. За ним — с хоботами, устремленными к Москве, — вырисовывалось еще четыре танка. Минуту они стояли, поводя носами, как будто нюхали воздух; потом рокот моторов перешел в ровный гул, и колонна тронулась к Ширяеву. Автоматчики приготовились и на всякий случай положили перед собой запасные диски. В это время из-за изб показалась сопровождавшая танки немецкая пехота — не меньше батальона.

«По тридцать негодяев на бойца, — прикинул Габдулин. — Что ж, пусть идут».

— Товарищ политрук, немцы, — разгоряченным шопотом произнес боец. В его глазах был один вопрос: когда ж ты подашь команду?

— Вижу, — ответил Габдулин. — Пусть идут.

Немцы приближались. Вот они всего в двухстах метрах, еще ближе... Нетерпение давно велит советским бойцам стрелять, но разум, которому всегда привык доверять Габдулин, говорит: «Обожди, пусть подойдут, — нас немного, надо бить наверняка».

— Товарищ политрук, идут же!!

— Вижу.

Наконец уже можно различить каждого немца в отдельности. Впереди батальона шагает сухопарый детина в очках, а самый последний в колонне, верно, натер ногу и хромает. «У, сволочи!»

— Огоны! — сказал Габдулин.

Хромой упал сразу, точно он и не собирался никуда идти. Детина в очках подпрыгнул и взмахнул руками. Но он был цел. Колонна расстроилась, и немцы замесились. Послышались крики и стоны. Десятки солдат повалились, кто навзничь, кто боком, а кто сперва завертелся на месте, а потом опустился на корточки и упал на спину. Уцелевшие повернулись и быстрым шагом стали отходить. В это время сухопарый повертел

головой туда-сюда и выпустил ракету в сторону кусточков. По засаде немедленно со стороны деревни ударили минометы. Туман рассеялся. Танки остановились, повернули хоботы и тоже ударили по кустам. Неприятельский батальон сдержал шаг, потом остановился, рассыпался и ползком стал подбираться к кустам. Засада была открыта. На нее наступал противник, во много раз более сильный, чем отряд Габдулина.

Против каждого советского автоматчика работало по крайней мере двадцать немецких. Били минометы. Мины ложились все ближе. Уже ранены трое из тех, кто час назад жадно всматривался в дорогу, поджидая противника. Положение стало трудным.

— Бейте на выбор! — сказал Габдулин.

Но чем было бить, если в каждом диске оставалось не больше пяти патронов. Между тем огонь противника достиг высшего напряжения. Немцы, верно, думали, что в кустарнике залегла рота или, может быть, даже две: так усиленно они поливали его металлом.

«На тринадцать человек неэкономно расходовать столько стали. Сейчас полезут в атаку, — подумал Габдулин. — И это — смерть».

И это, конечно, было бы смертью, останься они в кустарнике. Но умирать было нельзя. Глупо было умирать, когда можно тело свое и руки употребить с большей пользой. Габдулин взглянул на бойцов. Каждый боец глядел на него — ждал. И потом каждый невольно поглядел на восток, в сторону Москвы, где, отдаляясь, гремели орудия. Отходить туда было поздно, за кустарником начиналось поле, и это поле сторожили немецкие танки.

— Ну что ж, автоматчики, за мной! — сказал тогда Габдулин. — Нельзя назад, пойдем вперед.

И они поползли вперед по руслу ручейка в сторону Морозова, в самое пекло к чорту. Было десять часов

утра — время, в которое обычно Малик бежал по прямым улицам столицы Казахстана к библиотеке, готовой открыть ему все тайны прошлого и всю мудрость жизни, накопленную в сердцах умерших людей. Кругом ничто не напоминало недавней мирной жизни. Морозный воздух содрогался от уханья орудий и визга металла. Земля, разрываема снарядами, стонала, и сучья, ломаясь, точно вскрикивали от обиды и боли. Промерзший ручей устремлялся сперва прямо к деревне, а потом круто поворачивал вправо и, обегая крайние сараи, вел в поле, за которым синел лес. Наверно, было очень холодно — так, как никогда не бывает в Казахстане. Но Габдулин не ощущал холода, да и никто из бойцов не сказал бы, какая была погода. В теле не осталось ни ощущений, ни чувств иных, кроме желания обмануть врага, уйти, обвести его вокруг пальца, оставить в дураках. Отрядом овладел тот азарт битвы, который можно сравнить лишь с вдохновением певца или музыканта, когда зал замер и артист чувствует лишь биение своего сердца, похожее на удары колокола. Властительность мысли о победе вела вперед Габдулина и его бойцов, пока немцы продолжали обрабатывать кустарник со всей методичностью, которая по уставу, сочиненному «всезнающими» гитлеровскими генералами, гарантирует успех атаки.

Кустарник весь кипел, когда недавние защитники его уже шагали по огородам Морозова, пригнувшись, прячась за каждый бугорок почвы, за каждый снежный холм.

Внезапно их накрыла минометная батарея.

«Придется последним огнём ударить по батарее», решил Габдулин. И такая была меткость глаза у бойцов, и такое было желание отомстить врагу, что ни один из уцелевших патронов не пропал зря, — и батарея замолчала.

Из-за какого-то сарая на советских бойцов вдруг выскочили фашистские автоматчики. Неизвестно, кого они ожидали здесь найти, но, встретившись с дюжиной русских бойцов, которые дали по ним дружный залп, немцы растерялись, завопили и врассыпную кинулись в деревню.

Последней очередью отряд срезал бегущих фрицев.

Однако медлить было нельзя: танки могли вернуться и могли подоспеть свежие фрицы.

— Бегом! В лес!!

И вот уже все тринадцать автоматчиков надежно укрыты в лесу. Раненые прилегли на снег, здоровые замаскировали привал. Габдулин с облегченным чувством удачи опустил на промерзшую корягу, и каждый потянулся к фляге с предусмотрительно запасенной водкой.

Долго подготавливавшаяся атака опустевшего кустарника между тем, видимо, состоялась. Грохот орудий и минометов, доносившийся с востока, внезапно смолк, потом раздались крики, поднялся глухой шум, и опять все смолкло.

— В дураках остались фрицы, — сказал Габдулин. — А ну-ка, посмотрим, как у них там с Ширяевым. Надо думать, наши успели отойти.

И, еле успев передохнуть, он с двумя бойцами направился прямо в Ширяево. Впереди Габдулин, с ним два сержанта — Коваленко и Ладнев. Удавшийся обман немцев веселил душу, и русский зимний лес показался Габдулину не хуже, чем казахская степь в цвету.

В Ширяеве русских уже не было. Возня фашистов у кустарника дала нашим возможность в полном порядке отойти. По улицам бегали немцы, и со всех сторон слышался галдеж.

— А полковник? Заглянем в штаб.

Находясь в самом логове зверя, Габдулин направился к помещению, из которого сутки назад был получен

приказ, какой советские воины и выполняли сегодня все утро с таким упорством и беззаветностью.

Прямо у штаба стояло два немецких танка. Люки были открыты. Немецкий танкист сидел, перекинув через борт ногу в начищенном сапоге, и, держа в руках зеркальце, выдавливал на носу прыщи.

— Может, проберемся к землянке? Не оставили ли там наши чего нужного?

Землянка штаба была вырыта в огороде. Но фашист покончил с туалетом и неизвестно зачем — за нуждой ли, или потому, что почуял поблизости чужих — спрыгнул с танка и тоже направился к огородам.

Опять нужно было уходить. Ползком, таясь за тынами, Габдулин и его товарищи поползли обратно к отряду. Шум боя откатывался все дальше к востоку. Пора было пробираться к своим, но Габдулин не мог и не хотел спешить. Его беспокоило отсутствие боеприпасов. Не с кулаками же идти на фрицев, если они наскочат с пулеметом.

Наконец он увидел артиллерийский ДОПП¹, видимо, не замеченный немцами. Это было счастье. В ДОПП'е хватило бы припасов и на целую роту. Прихватив все, что могли унести, тринадцать советских героев начали отход.

«Пожалуй, приказ выполнен, — думал Габдулин. — Задержали танки и целый вражеский батальон на два часа. Истребили до сотни фрицев, потерь не имеем, боеприпасов хватит на три боя. Заставили немцев два часа атаковать пустой кустарник и израсходовать впустую тонны боеприпасов и целый вулкан огня. Пожалуй, я сделал все, как надо».

Три дня длился отход по тылам врага. Когда Габдулин впервые приехал на фронт, русские бревенчатые

¹ Дивизионный обменный полевой пункт.

избы, низкое небо, лесок, запорошенный снегом, — весь русский северный пейзаж казался ему чужим, точно он воюет в гостях. А в эти дни, когда он видел, как с крылечек русских изб сбегают серо-зеленые горластые фрицы и как по-хозяйски они распахивают ворота, за которыми слышалось тоскливое мычание коров, и видел застывшие в безмерной тоске лица старух и детей, он чувствовал такую боль в сердце, какую ощутил бы в родном ауле, ворвись в юрту его отца или соседа наглый разбойник и вор.

Шагая в ряду своих боевых товарищей, Малик взглядывал на заглубевший красный затылок Ладнева и думал: «Ай-ай, как ему, наверно, больно видеть такую беду, бедный русский! Можно умереть от такого несчастья. Какое благородное дело выпало мне! Спасибо полковнику Копрову».

Копрова они нашли на третий день. Спокойно отошедший полк занял новый рубеж обороны, хозяйственно укрепился на нем, и немцы третий день не могли протаранить его.

— Товарищ командир, — сказал Габдулин полковнику, — приказание ваше выполнено.

— Малик! — закричал полковник и обнял казаха. — Жив?

— Жив как будто:

— Один жив или все?

— Все живы. Были трое ранены, да, пока отходили с боями, поправились:

— Нет, вы скажите, какая радость! — вскричал опять полковник и протянул Малику бумагу: — А мне вон что про тебя написали. Читай!

И Габдулин прочел донесение отсекра Джетлиса Баева: «Командиру полка. Донесение. 16 утром в 10.00 13 автоматчиков во главе с политруком Маликом Габдулиным храбро и самоотверженно дрались с немцами.

Они отвлекли на себя большие силы противника, уничтожили до 100 вражеских солдат и офицеров, но были отрезаны пехотой и танками противника. Подверглись уничтожающему огню и ожесточенным атакам и, выполняя свой долг перед родиной, погибли все до одного, самой смертью своей добившись больших тактических успехов для Н-ского подразделения, успевшего планомерно отойти и закрепиться на новом рубеже».

— Хорошо написано, — сказал Габдулин. — Все так и было. Только мы отказались погибать, — невыгодно это.

Бой под Морозовым дал Габдулину первый боевой орден.

Габдулин много раз бывал в бою, ни разу ему не изменяло его спокойствие и мужество. За два года боевой жизни не было случая, чтобы он считал свое положение безвыходным.

— Если ты не потерял головы, — говорил он бойцам, — ты всегда выберешься из самой глубокой ямы бедствий. Погибнуть без толку — не героизм. Настоящее героизм — победить врага в любых условиях, как бы трудны они ни были.

Габдулин прославился не только личной храбростью, но и умением воспитывать чувство мужества в других бойцах.

Один раз с несколькими бойцами он был в разведке и углубился в расположение врага на 150 километров. И не только благополучно вернулся, но и взял в плен штабного офицера одной немецкой части, никак не предполагавшего, что в глубоком тылу его могут застигнуть советские воины...

7

О чем думает человек перед боем и как ведет себя? Иной старается ни о чем не думать. Он проверил ору-

жие и уверен в нем. Проверил себя и убедился, что может быть уверен и в себе. Он видит комья разрытой земли, низкие облака бегут над пустым ничьим пространством. Земля поросла кустарником, тянет ветер, и на горизонте — лесок. Там — противник. За спиной бойца командный пункт, а рядом с ним товарищи, и у каждого из них свое оружие, свое сердце и свои руки, которые твердо и уверенно в нужную минуту пустят оружие в дело. Боец всем своим существом собран и ждет команды. Это один.

А другой, наоборот, как будто рассеян. Мысли в голове его бегут, как облака в небе, или как круги на воде. Он видит дом, родителей, или жену, или, может быть, девушку, если он не женат и при расставании с платформы ему махала милая и ласковая девичья рука. Рассказы приятелей, отрывки из прочитанных книг, воспоминания о том, что было, фразы из старых писем, стихи — все, что теснится в голове человека, находящегося в вынужденном бездействии, проносится перед его мысленным взором, хотя и он тоже собран и ждет приказаний командира.

А третий чувствует мелкий озноб страха, ибо звать страшно. А четвертый, пятый, шестой — приподняты и взволнованы. А седьмой, восьмой, двадцатый — налиты такой кипяченой злобой против немцев, разоривших их дома, обесчестивших их семьи, убивших их детей, что в сердцах их нет ни лазейки, ни щелочки для иных чувств...

Бой еще не начался. Впереди бойцов и позади — тишина. О, эти часы ожидания атаки! Они навсегда вселяются в душу и изменяют человека. Становится человек после боя как будто лучше, хотя все, что в нем обнаружила война, и раньше пребывало в его сердце, он только не знал этого или знал, да стыдился или не верил, что ему свойственно именно это лучшее, из чего

на первом месте — забота о товарищах, любовь к родине и мечта о счастье своего народа.

Малик Габдулин как раз принадлежит к тем, кто в ночь перед боем думает о многом. Он и сейчас, когда я пишу это, на фронте. И сейчас, как все два года войны, его окружают его боевые товарищи, панфиловцы. Возможно и сейчас, когда вы читаете эти строчки, он ждет начала атаки или готовится к обороне.

Золотая медаль Героя Советского Союза украсила грудь Малика, когда уже зажили его пять ранений, полученных им в боях, из которых каждый открывал в его душе все новые качества, причем всякий раз оказывалось, что качества эти не новые: они всегда жили в сердце и разуме Малика, только в мирное время их не приходилось обнаруживать. Вот изменилась обстановка, и они вышли наружу. А Габдулин оставался все тем же молодым литератором, и, оставаясь наедине с самим собой, он не раз ловил себя на мысли, что если ему сейчас и хочется для себя лично чего-нибудь, так это возможности поскорее сесть к столу, открыть рукопись диссертации о замечательном казахском ученом Валиханове и начать выправлять ее для печати.

«Вот и деремся мы за то, — думает он, — чтобы каждый мог снова делать то, что он любит и хочет, что считает полезным и нужным для себя и для своей страны. И казах, и киргиз, и русский, и татарин — все дерутся за это. И перед боем мы думаем об этом каждый по-своему и каждый на своем языке. И если собрать в одно все мысли всех бойцов на всех фронтах и посмотреть на это необъятное золотое облако, составленное из человеческих мыслей и чувств, то это и будет живая душа нашей родины, вставшей на войну с Гитлером от всего сердца».



OH K-73853

Цена 35 коп.

100